

У

же на пороге тесного бабушкиного жилья внучка о себе известила:

— Бабаня! Рыжуня! Я вас провести пришла, молочка принесла!

Кошка Рыжуня тут же объявила о себе звучным мурчаньем. А бабушка не отозвалась.

В низенькой, с малыми оконцами хатенке было темновато, тем более в пору нынешнюю, осеннюю.

— Бабаня! — повторила свой привет молодая гостья. — Ты где?

— Да тута я... — тихим эхом отозвался негромкий голос.

Внучка включила свет и увидела бабушку, которая сидела в темном углу, скукожившись и пряча лицо в ладонях.

— Ты заболела, бабаня?

— Нет, моя внуча... Видно, задремала.

— Тогда ложись и отдохни. Тепленького молочка попей и...

Девочка оборвала свою речь и на минуту смолкла, увидев блеснувшие капли слез в морщинах стариковского лица.

— Бабаня... — охнула она. — Ты плачешь? Ты почему плачешь?..

— Да я вовсе не плачу — оправдалась старая женщина. — Влей молока кошке. Орет... Исповадилась, уже и в шкуру не влазит, а все голодная, — пыталась она отвести разговор.

Но внучка повторяла свое:

— Нет, ты плачешь... Ты почему плачешь? Я же вижу.

Она достала платок и, утерев бабушкины слезы, обняла старую женщину. Они были вровень: рослая двенадцатилетняя девочка и согбенная жизнью бабаня.

— Нет, нет... Ты мне скажи почему плакала? Кто тебя обидел? Ты скажи, а то я тоже заплачу... — голос девочки дрогнул.

Сердечная детская доброта тронула старую женщину.

— Тогда давай вдвоих реветь, — улыбнулась она, — стар да млад... Тонкослезые... Это все Гордевна, — призналась она. — Такое у нее и звание — Гордевна. Все она гордится чего-то... Всю жизнь в кухарках пробыла, при теплом месте. А я на тракторе, двадцать лет. Две награды имею. Да троих детей подняла. Вон каких... А она выставляется... Пряников мне нынче принесла. Говорит, шоколадные. Пенсию ей почтальонка доставила. Вот она с пенсии пряников и купила, и мне — гостинец. У тебя, говорит, своей воли нет. Ты деньгам — не хозяйка. А я при живой копеечке. Захотела и купила... Вон они, на столе, ее шоколадные, — указала старая женщина. — Не нужны они мне.

— Бабаня... — удивилась девочка. — У тебя разве все кончилось: печенье, пряники? Я тебе сейчас принесу, — вскинулась она. — Свежие вафли вчера мама купила и конфеты «Коровка».

— Не надо, — остановила ее бабушка. — Все у меня есть, моя внуча. В шкафчике сохраняю. От мышей.

— А чего же ты тогда... — девочка не могла понять. — Чего же ты плакала?

Старая женщина ответила не вдруг.

— Из ума, видно, выжила, вот и плакала, — вздохнула она, а потом призналась, неохотно, с какой-то болью. — Несамостоятельной она меня обозвала. Ты, говорит, несамостоятельная. Тебе и почтальонка деньги не носит, и карту не доверяют. Ты — своим деньгам не хозяйка.

Она призналась внучке — душе родной. Но ожидала с тревогой: поймет ли ее, старую, уже взрослое, но дитя или обсмеет.

Девочка не все поняла, но смеяться не стала. Она взяла низкую скамеечку, села у ног бабушки и стала глядеть на нее пристально, снизу вверх.

— Бабаня, миленькая... Ну, скажи, что тебе надо? Мы все купим. Я прямо сейчас побегу в магазин и куплю! У меня свои деньги есть. В сундучке.

— Ничего мне не надо, моя лепота, — вздохнула старая женщина и приласкала девочку. — Все у меня есть. Живу возле вас, как у Бога за пазушкой... — И вдруг, вроде о другом, но горячо, даже вздохнул: — Мне денежки не нужны. Куда мне их? Со двора не выхожу. Но я бы вам чего с пенсии купила. Тебе — какую-нибудь шоколадку. Ты же — сладстена.

— Не надо, бабаня, мне шоколадок.

— Тебе не надо, а мне — надо. Родную внучку потешить, поглядеть, как она радуется. Или в твой сундучок добавить, заветный.

Был такой у девочки игрушечный сундучок, в котором она собирала подаренные ей деньги для своих мечтаний.

— Вовке бы сунула копеечку. Он — жених. И бате твоему на рождение поднесла бы подарочек. Вам он — папка, а для меня Петюшка... Такой был ревучий... Последыш...

Она отвела от внучки глаза, уходя в дальнюю память и погружаясь в нее.

Молчала и девочка, пытаясь что-то уразуметь в этой взрослой жизни, не всегда для нее понятной.

Еще недавно, каждый месяц приходила во двор знакомая почтальонка. Бабушка ждала ее с самого утра и всем сообщила: «Пенсию ныне принесут». Малую толику она всегда выделяла внуку и внучке с присловьем: «Шоколадку купите».

Такое было. Но потом деньги бумажные у старой женщины перестали водиться. Пенсия стала приходиться к ней на банковскую карту, как нынче ведется. Тем более, что старший сын Виктор не забывал о матери, присылая с далекого Севера свою помощь.

Мобильный телефон, который ей завели, каждый месяц, в привычные дни подавал голос: «Трень-трень...»

— Пенсия моя, пенсия пришла... — угадывала старая женщина. — А это Витя прислал.

Первое время, заслышав эти «трень-трень», она спешила к молодым с известием:

— Пенсия пришла. Надо пойти взять. А то как бы не пропала. По телевизору про это галдят...

Раз и другой водили да возили бабушку, получая из банкомата деньги.

Но потом эту канитель прекратили, забрав у старой женщины банковскую карту. И теперь лишь мобильный телефон напоминал в свою пору: «Трень-трень...»

— Пенсия пришла, — угадывала хозяйка. — Витя прислал денежку.

Были и другие сигналы: «Трень да трень», когда сноха или сын снимали деньги с карты в банкомате или расплачивались при магазинных покупках. «Трень да трень...» — слышала и вздыхала порой старая женщина: в дело ли, не в дело ее денежку тратят? Как знать...

Рыжуня — большая, мурластая кошка, осушив и вылизав свою площадку, нарушила людское молчанье, что оказалось нелишним.

— Мур-мур-мур... — громко пела она, ласкаясь поочередно к хозяикам молодой и старой. — Мур-мур-мур...

Последняя ее укорила:

— Ненасытная... Бедная да голодная. В чулане мыши ходором ходят. Кабашные семечки все дочиста поточили. А ты все поешь. Не кошка, а патефон. Ну, плесни ей еще чуток.

— Ой, бабанечка, я побегу! Мне — в школу. Тебе, может, чего надо?

— Нет. Я сама к вам приду. Горяченького похлебаю.

— Хочешь, я принесу тебе.

— Дойду. Два шага. Дорога ровная.

Ходить к молодым было и впрямь недалеко.

В одной ограде, на просторной усадьбе, не мешая друг дружке, соседствовали три жилья. Рядом с калиткой притулилась к забору просторная будка старого Полкана, который все больше дремлет да спит. Покой его редко тревожат: поселок невеликий, улица тихая, машин мало, лишь высокие тополя листвою порою шумят.

За собачьей будкой примостился домик человеческий, деревянный и тоже — малый, в два окошечка. В нем старая хозяйка доживает свой век с кошкой Рыжуней.

От калитки да малого жилья стариковского бетонная дорожка ведет вглубь усадьбы к просторному кирпичному дому, где молодые живут: сын старой хозяйки, жена да двое детей-школьников.

В годы, теперь уже давние, когда строили новый дом, вначале решили малую хатку убрать, чтобы не мешала. Но старая женщина свое гнездо отстояла. И, как теперь понимали, не зря. Рядом мать, на глазах, на слуху и в тоже время в покое.

В большом доме, семейном, там — два телевизора, порой громкая музыка, шум да гам, особенно в пору вечернюю, когда все собираются. А в малой хатке — тишина и покой. Гости бывают редко: соседки-ровесницы порой прибредут да свои — сноха ли, сын — мимоходом заглянут: «Ты — живая тут, мать? Ничего не нужно? Мы ушли...» Теперь уже надолго, на весь день. Лишь внучка — «подкладень» бабушкин, как с малых лет ее нарекли, повзрослевшая уже внучка под этим кровом бывает чаще других: приносит еду, порой помогает в уборке, иногда здесь уроки готовит, уходя из шумного дома. Но все это, как говорится, набегом. А долгий день малый домик по-стариковски дремлет в тиши, как ему и положено в годах преклонных.

Но старая женщина в приюте своем затворницей не жила. Привычно, особенно по теплomu времени, она выбиралась на волю для дел обычных: грядки да лунки просторного огорода, цветочные клумбы палисадника, садовые кусты и деревья — все просило ухода, полива. Добро, что про ведра да поливальники теперь забывали: лишь выключателем щелкни и потекла из шланга вода. А мотыга ли, лопатка — дело привычное.

И в дом к молодым старая женщина заходила: понемногу кормилась; порою, если попросят, варила что-нибудь нехитрое или пекла блины к поре обеденной, когда с учебы прибывают внуки — большие охотники до бабушкиных блинов.

Но в день нынешний, осенний, не больно погожий, с ветром и мелкой моросью, старая женщина на воле провела недолго и снова укрылась в своем гнезде, где тепло и тихо, лишь кошка порой поуркивает, где сладко дремлет, и в этой дреме еще крепкая память прядет свои долги нити, от которых то горько, то радостно, как и в днях жизни. И приходит все врачующий сон, короткий ли, долгий, но, слава Богу, пока не вечный.

* * *

Тем же днем, вечерней порою, уже во тьме, возвратившись с работы, хозяин дома еще с порога, оглядев своих домочадцев, спросил:

— Мать не у нас?

— Не было.

— А чего у нее света нет? Я думал, она здесь. Пойду погляжу.

Он вышел и скоро вернулся с известием:

— Заспалась. День с ночью спутляла. Возраст.

— Что-то она спать стала много, — посетовала жена. — Давление надо померять. Таблетки не хочет пить. Говорит, хуже от них. А врач приказал. Сердце...

— Ее Гордевна обидела, — сказала родителям дочь.

— Гордевна?.. Чего они, старые, не поделили?

— Гордевна к ней приходила, принесла пряников. С пенсии купила. Сказала: у тебя своих денег нет, не на что купить. А бабانه обидно. У нее ведь, правда, денег нет. И карту у нее забрали. Она обиделась.

Родители выслушали дочь внимательно. Переглянулись. Ответили не сразу.

— Понятно, — сказал отец. — Гордевна — премудрая. Вот я Полкана спущу на нее. Она враз к нам дорогу забудет.

— Доумишься... — остудила его жена. — Последние бабки, последние подруги материны... С кем ей тогда гутарить? Лишь с кошкой?

— С нами нехай гутарит.

— С нами нагутаришься. Увеемся. И на весь день. — И после раздумья добавила: — Может, и вправду, отдать ей карту. Пусть кохается. Старый человек... Когда надо, будем брать.

— Правильно, — поддержала ее дочка. — Когда надо, я с карты умею снимать. Папа знает.

— Умешь... — выглянул из своей комнаты старший брат. — В свой сундучок ты умешь накладывать!

— Неправда!

— А ну-ка смолкли! — остудил всех глава семейства. — Вас не переслушаешь. Вы забыли сколь дней мы ее паспорт искали. Всю хату перетрясли... А мать умней всех оказалась... Господь сбережет... — повторил он материнское. — Вот он и берег. Он нас... Три дня с ума сходили. Не помните?

Было такое. Старая мать спрятала паспорт за оклад иконы. «Господь сбережет...» Спрятала и забыла.

— А цыганки... — продолжил отец. — Чтобы цыганки пришли и выманили. Вы телик смотрите? Как стариков дурят? Спешат наперебой: конные и пешие. Одни — из собеса, другие — от беса. Дурят и дурят. — И через паузу постановил: — Забудьте про карту. Она ей не по уму. Чего захочет, отказа нет: все купим... Пусть говорит.

— А если ей... — снова вступилась девочка.

Но отец ее оборвал:

— Не твое это дело. Нос не дорос. Ясно!? Лучше отнеси бабке поужинать. — И тут же передумал. — Я сам отнесу. Соберите. Отнесу и все обскажу. Она поймет. А эта Гордевна преподобная...

Громкий сигнал мобильного телефона оборвал его речь и поменял планы.

— Понял, понял... Выезжаю, — ответил он и объяснил жене: — В Малую Голубую.

— Ты хоть поужинай.

— Некогда. Знакомый человек. Спешит. Платит всегда хорошо. Погнал... — со вздохом закончил он и стал надевать только что снятую куртку.

Жена повздыхала, огорчаясь, и спохватилась:

— Возьми оладушков и чаю в термос.

— Не надо. У меня в сумке осталось.

Кроме своей основной работы глава семьи подрабатывал извозом, на машине, обычно в ночное время. Не от хорошей, конечно, жизни.

Зарплаты в дороге — копеечные; а дети растут. Вот и вертись: ночь-полночь, порой дороги далекие. Но все же лучше чем «вахты» в Москве да в Сибири по два да три месяца, оставляя жену, детей.

Хозяин уехал. Жена проводила его, перекрестив убежавшую машину. А в дом вернувшись, вместе с дочерью собрали для свекрови ужин, добавив к обычному большой пакет с разными сладостями. И дочери наказ:

— Пусть угощает Гордевну и Митревну, и всех подряд. Скажи, пусть не жалеет. Слава богу, не бедствуем, — и со вздохом добавила: — Спасибо папушке.

На воле, до срока густела осенняя ночь. Уже за порогом — сырая непроглядная темень. Лишь вдали, над поселковой площадью, брезжил невнятный купол тамошних фонарей, да совсем рядом желтело малое окошко бабушкиной хатки. Путь до нее — два шага. Но девочка шла медленно, а потом у порога и вовсе остановилась.

Рядом громыхнул цепью дворовый пес. Девочка подошла к нему, спросила: «Не спишь, Полкаша? Похрумкай, поладись...» — и угостила его вафельным печеньем.

Она вернулась к порогу бабушкиной хатки. Ей не хотелось туда идти. Такого не было прежде. А вот теперь... «Вдруг она снова плачет? — думалось девочке. — Вдруг она плачет...»

Но бабушка не плакала. У нее даже телевизор работал. Но беззвучно, лишь светя экраном.

— Сломался? — спросила девочка, подойдя к телевизору.

— Нет. Слава богу, хорошо кажет.

— А почему молчит?

— Они там все ругаются, — посетовала бабушка. — Не хочу их слушать.

— Ну, тогда выключи.

— Не надо. Может, потом запоят.

Девочка рассмеялась. Страхи ее ушли. Но появилось иное, словно увиденное впервые: тесные стены бабушкиного жилья, низкий потолок, кровать да столик, деревянные табуретки — все малое, старое, ношеное, хозяйке подстать. А ведь вроде еще недавно по-другому все виделось.

— Бабаня, ужинать садись. Все тепленькое. Кашка твоя любимая, оладушки со сметаной и молоко.

— А папочка? Либо ужинает? Он забегал ко мне. Спасибо, что разбудил... Сплю и сплю.

— Уехал папочка. Пассажира повез куда-то на хутор.

— Какая страсть... С работы да на работу, а на дворе ночь темнучая.

— Бабаня, садись и ешь, все остынет. И вот тебе еще гостинцев целый пакет. Печенье тут, вафли, конфеты... Мама сказал, чтобы ты сама ела и всех угощала, своих гостей.

Старая хозяйка принялась за ужин, горюя о сыне. А внучка, снова оглядывая бабушкин быт, посетовала:

— Какое-то у тебя все маленькое стало. Потолок низкий, — подняла она руку, тронув кончиками пальцев темные доски некрашенного потолка.

— Да я и сама сделалась как пичужка, — посетовала бабушка. — Только перышков нет. Оттого и забну. А тебя либо за уши тянут. Растешь, как на хмелинах. А хатка наша... Жалиться на нее грех. Троих я тут вырастила... — Старая женщина огляделась, словно себе не веря. — Да еще каких... И ты, бабкин подкладень, тоже тут оперилась. Вот тебе и малая хатка.

— А сундук почему-то так и остался большой, — вслух подумала девочка.

— В нем напихано много, — засмеялась бабушка. — Весь мой нажиток. Либо не помнишь?

Девочка помнила. Конечно же, помнила. Но так давно они не открывали этот сундук. А ведь бывало... Детским хворям, капризам, хандре, даже горьким обидам со слезами всегдашнее утешенье — бабушкин сундук.

— Надо бы нам сундук поглядеть... — обычно в таких случаях говорила бабушка. — Не дай бог моль доберется и все поточит.

У малой внучки разом высохли слезы и всякой хандре приходил конец. Бегом к сундуку.

Вот он — большой, оббитый полосами белого железа, казачий, «служивский» сундук далекого прапрадеда. Медленно поднимается тяжелая крышка, испод которой обклеен цветными картинками. И старинная надпись: «Лейб-гвардейского казачьего Его Императорского Величества Наследника Цесаревича Алексея полка вахмистр Исай Бирюков».

Для малой девочки главное — не сверху, а в самом низу, под юбками да кофтами, пропахшими нафталином, и под бабушкиной «смертной» одежкой. И вот она, наконец, первая радость — черная кружевная ажурная шалька, красивая и почему-то тяжелая, прохладная. На плечи ее накинуть и — к зеркалу, которое бабушка для таких случаев осторожно снимает со стены и ставит на пол, чтобы малая внучка могла на себя поглядеть.

Но черная шалька... Она какая-то строгая. А вот другая, огромная, тоже кружевная, но белая шаль с кистями — это праздник. Девочка укутывается и утопает в ней и шествует к зеркалу, словно царевна, с длинным шлейфом. Она долго любит себя и на шаль. «Тебе откажу...» — обещает бабушка. Разве не счастье!.. Ведь бабушка не обманет.

И еще один, самый красивый, платок, желто-кремовый, расписной, с большими алыми розами. В хате от него сразу светлеет. «А это тебе, на свадьбу», — обещает бабушка, обряжая малую внучку. «Правда, подарить, бабанечка? — Конечно. Ты же у меня самая родная, жалечка... Сладкая да уязвленная, боля моя...»

Как давно это было. Но помнится: «Жаля моя... Боля моя...»

Старинный «служивский» сундук и ныне никуда не ушел, хоть и покушались на него молодые. Ведь занимал он чуть не полхаты. Но хозяйка свое добро отстояла, определив ему место укромное за дощатой перегородкой.

И вот теперь, вспомнив давнее, девочка открыла сундук и, отыскав там самый нарядный цветастый платок, обрядилась в него и вышла к бабушке.

В малую хатку одним разом словно лето вернулось: ярко-желтый солнечный плат, прикрывая голову внучки, мягко стекал на плечи и руки. Алые розы цвели по янтарному полю платка. Но милее, но краше роз светил уже не детский, но девичий лик: ясноглазый, темнобровый, с нежным румянцем.

— Моя красота... — ахнула старая женщина. — Да ты — прямо, невеста... — проговорила она, с трудом сдерживая непрошенные слезы.

Проспав все на свете, из-за печки выбралась голосистая Рыжуня и принялась тереться возле ног молодой нарядной хозяйки: «Мур-мур...»

— Проснулась, караульщица, — укорила ее хозяйка. — Мыши тебе скоро хвост отгрызут, а ты не услышишь. Влей молочка старуне, — попросила она внучку. — Да кашки чуток...

— А ты сама почему не ешь? Уже все остыло. Давай разогреем.

— Да я потом, потом поклюю. Может, я еще Петюшку дождусь. Когда он возвратится... А ты ступай, моя внуча, ступай. Завтра в школу тебе... А может, уроки не все выучила. Ступай, родная. А мы тут с Рыжуней...

— Бабаня, про кулек не забудь, — напомнила девочка. — Разберись.

Там много всего: конфеты, печенье. Сама ешь и Гордевну угощай. Пусть знает...

— Привечать ее, грамотную... — заворчала старая женщина уже не для внучки, а для себя, укоряя премудрую соседку. — Они мне не нужны, эти почтальонки и эти карточки. Не к рукам цимбалы. Цыганки тут ходят, выманивают... Мне и без карточки все несут. Вон кулек какой... А надо, я Петюшку попрошу, он мне и денежку даст. А карточка, она... Господь с ней... Ступай, моя внуча.

Девочка ушла, но услышать успела про карту и про цыганок. Она услышала, но лишь потом через время, уже готовясь ко сну, что-то уразумела из слов бабушкиного бормотанья о почтальонке, о Гордевне и «карточке», то есть о банковской карте, которую у нее забрали.

Конечно же, родители в своем праве: они все покупают, за все платят; и банковская карта бабушке не нужна: видит плохо, не все понимает, даже с мобильным телефоном не всегда справляется. И со двора, считай, не выходит. Зачем ей банковская карта — забота лишняя?

Но все же... Она ведь плакала. Не притворяясь, не напоказ, а осталась одна, в своей тесной избушке. Может, и сейчас плачет. Это так нехорошо.

А виной всему лишь кусочек картона. Гладенький, цветастый. Целая стопка таких ли, похожих сохраняется в комодке, в горнице. Семья дяди Вити после отпуска их оставляет, когда приезжает с далекого Севера. Они в город ездят, много покупают, а потом оставляют кое-какие карты: дескать, может, вам пригодятся, а может, и нам, на следующий отпуск. Их целая пачка, этих, нужных и ненужных, гладеньких, разноцветных карт: «Спортмастер», «Sela», «Helen», «Kari club», «Respect»... Какие-то еще.

Порою девочка их перебирает, мечтая: «Вырасту, буду работать, тоже буду по магазинам ходить». Эти карточки даже пахнут как-то приманчиво.

И сейчас, когда думалось о бабушке и ее слезах, мелькнула в памяти карта, которая была среди прочих, в комодке. Она — настоящая банковская, но ненужная, закрытая, денег на ней нет, поэтому ее и оставили, а по виду очень похожая на бабушкину. Старый человек не разберет.

Потихоньку, чтобы не слышала мама, девочка прокралась в горницу и потом у себя в комнате среди пачки карт магазинных нашла эту банковскую карту: сиреневый прямоугольник гладкого картона с надписью «Сбербанк». Карта — пустая, без денег. Девочка это точно знала. Но она — настоящая. Отдать ее бабушке, и она будет рада.

А если чего-нибудь попросит купить, то можно из сундучка взять, из своих накопленных денег. Ведь многого она не попросит. А будет так рада...

* * *

Старая женщина, и впрямь, была рада.

— Я ее сберегу, — обещала она внучке. — И денежки зря тратить не буду.

Она и так, и этак вертела карту, словно новой игрушке радуясь, как малое дитя. — Я ее схороню, моя внуча. А как же... Там весь мой нажиток. Гаманок... — разглядывала она карту, не в силах уразуметь, где и как там умещаются ее деньги. Но твердо верила: они где-то там. И надо их прятать, беречь.

Но в первый же день у старой женщины появилось хотение. И назавтра попросила она внучку, вручая ей карту.

— Купи, моя внуча, шоколадных пряников.

— Да у тебя кулек печений да вафель, — напомнила ей внучка.

— Мне шоколадных... — настойчиво повторила старая женщина. —

Я этой Гордевушке докажу... Пусть знает...

Девочка взяла карту. И пряников, конечно, купила, вынув из своего сундучка сторублевую бумажку. Вынимала она ее со вздохом, потому что деньги копила на мобильный телефон. А теперь еще неизвестно, что завтра бабушке захочется... Не опустеет ли заветный сундучок?

Но страхи девочки оказались напрасными. Старая женщина шоколадным пряникам порадовалась. И только. А потом словно забыла про карту. Может быть, потому, что стала быстро слабеть и трудно выходила из сна. Она много спала, тем более, что за окошками гнездилась хмурая осень.

Старая женщина много спала и во сне видела близких, ушедших. Они ее звали. И она день ото дня, в яви повторяла родным: «Зовут меня, ждут...»

Она умерла, не дождавшись снега. Ушла тихо, во сне. Руки ее были сложены на груди крестиком. В правой, в сухом кулачке, зажата невеликая цветная картонка. Сначала подумали, что это иконка с молитвой. А оказалось — банковская карта, причем закрытая, пустая, с надписью «Сбербанк».

Никто ничего не понял. Лишь повздыхали: старый человек, причуды. Не понял никто, кроме внучки, которая плакала на похоронах горше всех. Оно и понятно: подкладень бабушкин, как называли ее с малых лет.

«НЮСЯ, ПОРА НА ПОСТ...»

Живут они от нас недалеко. Старая учительница давно на покое, ходит с костыликом, помаленечку гаснет, но духом жива: читает газеты, книги, любит поговорить. Захожу к ней по старой памяти.

Поселок наш зелен. Кроме обычных тополей, кленов да вязов, на улицах растут абрикосы, тутовник, смородина. Во дворах — яблони, груши да вишни.

Старой учительницы двор — вовсе зеленая глухомань. Деревья плотно сомкнулись кронами, низко ли, высоко над землей, и теперь в любой солнцепек во дворе сумрачно. Сверху — полог листвы, от земли поднимаются задичавшие заросли смородины, малины, шиповника, плетучего винограда — не пробьешься. Лишь тропы ведут к местам необходимым: погребу, колодцу, летней кухне.

Наведываюсь в этот двор, где под старой грушею — круглый стол, и чайник всегда шумит, и гости не переводятся. Хозяйка, отягченная годами и болезнями, по-стариковски мила, строга к супругу своему.

— Придумал... Надо же... — укоряет она. — Яблоню захотелось ему обрезать. Живое дерево... пилой. А если бы тебя этой пилой, ее зубьями, — подпускает она яду. — Взять бы твою руку пилить да пилить, пилить да пилить. Тебе бы это понравилось? Чего молчишь?

— Но Нюся... — пытается объяснить ей супруг. — Ведь это для пользы дела, и дереву полезно. Деревья у нас очень загущенные, потому что мы своевременно не проводим обрезку, как это положено. Давай попробуем, хотя бы одно дерево обрежу, и ты увидишь...

— Не смей. Никаких обрезков. Я об этом и слушать не хочу. Как дереву надо, так и пусть и растет. Она умнее нас, эта яблоня. В ней — природа, ее вечный разум. А не твой, ограниченный. И ей твоих подсказок не надо! — воздевает она руку и жалуется гостям. — Варварские какие-то наклонности у него появляются на старости лет.

— Но Нюся... — еще раз пытается возразить супруг.

— Не сметь... — мягко, но решительно говорит она. — Я уже сказала: не сметь.

Супруг удаляется, бормоча и пожимая плечами.

Эта история — давняя. Ей годы и годы. Обычно в наших дворах находится место всему: деревьям и огородным грядкам. Здесь же, в зеленой глуши, где все растет и сплетается по воле божьей, грядкам давно уже места нет. Огурцы ли, помидоры, болгарский перец — все от соседей.

Время от времени тишайший супруг учительницы пытается бунтовать.

— Нюся, — говорит он, — так нельзя. Надо проредить малину, и тогда будет урожай.

— Проредить? Чем? Вот этими, железными... — вспоминает она ненавистный инструмент. — Щипцами... Не сметь.

— Но Нюся... Это никакие не щипцы, а садовый секатор — обычный инструмент.

— Это орудие пытки, а ты — палач. Но я не позволю. Не сметь! — грозит она пальчиком. — Иди к железкам своим, их завинчивай, режь, колоти. А живое я не позволю. И никаких разговоров об этом.

Супруг удаляется.

Занятная эта пара. Старая учительница. Муж ее — на все руки мастер. Телевизор, радиоприемник, стиральная машина, велосипед, мотоцикл... Соберет, разберет, починит. Да что машина стиральная... Легковая, которая в гараже, древнейший «Москвич», движется, словно старинный дилижанс, лишь потому, что хозяин жив.

Когда заходишь к ним с улицы во двор, отворяя калитку, звенит звонок, упреждая хозяев. Во время вечернее на подмогу гостю загорается свет, сначала у ворот, потом возле дома, чтобы не во тьме блукать, спотыкаясь. Проходишь, лампы сами собою гаснут.

Хозяин характером простодушен, идеями окрылен, парит вдохновенно. Порою кажется, что не редкие седые пряди вздымаются над стариковской головой, а клубятся мысли, которым в голове тесно. Одна лишь беда:

— Не смей. Это я запрещаю.

— Но Нюся, это же очень удобно: нажимаешь кнопку, включается двигатель...

— Не смей.

Приходится оставлять такие завлекательные, а главное, полезные идеи, как лифт для подъема и опускания хозяина в погреб. Ведь неудобно, и все труднее спускаться туда по ступенькам лестницы, а особенно — подниматься. А тут бы сел в кресло, нажал кнопку и поехал.

— Не смей. И думать об этом запрещаю.

Он уходит, вздыхая и бормоча.

Старые люди — что малые дети. Слушаю их, посмеиваюсь, потихоньку горюю: годы, годы...

В пору летнюю тихий поселок наш становится людным. Съезжается народ погостить, навестить родителей да родню. Детворе здесь — рай. Да и взрослым не грех на солнышке кости погреть, покупаться в Дону и про-

сто пожить на родине, в старозаветной тиши, объедаясь всем, чем дарит щедрая отчина: ухой из свежей донской рыбы, густой сметаной, душистыми топленинами сливками — каймаком, сочными, в золотом пушке абрикосами, яблоками да грушами, от которых ломятся ветки, а земля пе- стрит сладчайшими арбузами, дынями, не говоря уж про помидоры, пер- цы, баклажаны и прочую зелень.

Съезжаются со всех краев.

Старой учительницы двор, как говорится, «на ходу»: на реку ли, на базар идти — он на пути. А может, дело в привычке. Когда-то росли здесь две милые особы. Давно молодое минуло, но память жива. Под старую грушей — тот же круглый стол. И чайник шумит, встречая гостей. Их много в летнюю пору. Вечером, когда темнеет, под грушею, над столом загорается лампа, освещая круг друзей и знакомых.

Все мы здесь выросли и разъехались. Встречаемся реже и реже. И чаще всего — в этом дворе, за круглым столом, под грушею. И словно в прежние годы, те же лица: старая учительница, муж ее, взрослые уже дочери, их друзья.

Времена нынче — для всех непростые. Есть о чем говорить, о чем спорить. Старая учительница, как и прежде, много читает.

— Наша мама... — радуется ее дочь. — Я преклоняюсь перед ней. Она в таком возрасте и так здраво, по-современному судит. Выпьем за мою маму...

Старая учительница в нашем кругу, у стола. Муж ее всегда в сторо- не. Посидит, послушает, уйдет, потом снова вернется.

— Мне аккумулятор принесли для проверки, — извиняется он. — Я его поставил на зарядку, но надо поглядывать.

— Наш папа... Всего четыре класса образования, но такая светлая голова. Я горжусь им. Давайте выпьем за моего папу.

Выпьем... Летнего застолья долог срок. Встреча друзей. Позади уже не годы, десятилетия. Свет лампы обрезает сумрак вечерний.

А потом старики уходят.

— Нюся, пора на пост, — негромко напоминает супруг.

Старая учительница поднимается. Они уходят вдвоем. Хотя «на пост» идти лишь супругу. Это он работает ночным сторожем. Еще один, невеликий, но приработок. Не столько себе, сколько детям да внукам. Хоть давно они взрослые, но пора нынче трудная. Тот же отпуск. На одни бил- леты сколько денег уходит. Надо помочь.

Старая учительница провожает мужа до места, прощается с ним до утра, идет домой, но к гостям уже не выходит.

— Мама, иди к нам, — зовут ее дочери. — Все равно ведь не спишь.

Она не хочет к ним. Она про мужа думает: «Как он там? Без нее... Такой старый».

— Мама, включи телевизор, — говорят ей. — Тебе будет веселей.

Она не хочет веселья.

— Возраст... — объясняют дочери. — А вот папу ничего не берет. Он не может без работы. — «Нюся, пора на пост», — вспоминают его фразу, посмеиваются. — Молодец наш папа... Выпьем за него!

Ухожу и я. Застолье будет долгим, а я от этого отвык. Тоже, навер- ное, возраст.

Поселок уже во тьме. В окнах огни скоро погаснут. Лишь редкие фонари на центральной улице и на площади будут светить до утра. Тоже ведь — «на посту».

МАЛЬЧИКИ УХОДЯТ ТИХО

Городские дворы нынче везде одинаковы: толчея машин, рычание моторов, по ночам — вопли охранных сигнализаций.

Нашему двору повезло. Машин здесь, конечно, тоже хватает. Но в середине уместился детский сад с не больно великим, огороженным простором для ребячьих прогулок. А точнее сказать, для беготни. Покоя там нет.

С моего балкона, с высоты шестого этажа, это особенно ясно видно. Вот мчатся: один ли, вдвоем, вроде наперегонки, в одну сторону, в другую. Лишь ограда для них — короткая остановка. Тут же — крутой разворот. И снова бегом. Весь невеликий детсадовский дворик — словно потревоженный муравейник. Кипящий и радостно-звонкоголосый. Веселые птахи. Бегом и бегом...

Вспоминаю прошлое, когда с малым внучком Митей приезжали мы на просторное подворье старого дома.

Лишь из машины выйдем, сразу звонкая песня, мне призыв:

— Бигом, бигом! Бигом, бигом, деда...

И помчался. Вперевалочку. Бегом и бегом на нетвердых еще ножонках, порою падая и вновь поднимаясь: «Бигом, бигом...»

Я понимал его: после тесной квартиры перед ним открывался такой просторный мир, что дух захватывало. Немалый сад, огород, сарай, погреб, летняя кухня, старый дом... Нужно везде успеть побывать: отпробовать спелые вишни, абрикосы, огородные грядки проверить, пожевать «люк» да «уклеп», поморщиться, но сообщить: «сладкий». Проведать соседскую собаку, поздороваться с ней. И снова — «бигом, бигом» к заброшенной летней кухне, осторожно заглядывая в ее таинственную полутьму. Наведаться в старый дом, немного пугаясь гулкой его пустоты.

«Бигом, бигом...» Все увидеть, узнать и поскорее стать взрослым.

Теперь он подросток: отрок, двенадцати лет. Серьезный возраст.

А эта ребятня детсадовская знает лишь одно: «бигом, бигом...» Веселое щебетанье греет душу, скрашивая нашу взрослую, порой скучноватую городскую жизнь.

* * *

В поселке своем стал я бывать и жить не в пример прежнему реже. Поэтому иные новости, порою печальные, приходят ко мне не сразу.

Услышал о мальчике, который еще весной покончил с собой, вроде бы без особых причин.

Стал я расспрашивать. К моему удивлению, об этом почти и не знал никто. А человек, по должности в подобных делах сведущий, сказал: «У нас каждый год такое бывает. Мальчишки...»

И в самом деле — мальчишка. В шестом классе учился. Значит, двенадцать лет.

В мои, очень давние, школьные годы был случай, когда повесился мальчик моего, тогда невеликого возраста: пятый ли, шестой класс. Сиротой он рос — военная безотцовщина, как и все мы почти. Учился плохо и его оставили «на второй год». Была такая школьная практика: плохо учишься, значит, еще год в том же классе посиди, укрепляя знания. «Второгодниками» таких учеников называли. А он не захотел быть «второгодником», пришел домой и повесился на высокой грядущке кровати, ноги поджав.

Мы ходили его хоронить. Весь поселок об этом знал, горевали: «Что уж он так... Было бы из-за чего?» И в самом деле: «второгодник» — не редкий случай. Каждый год и почти в каждом классе кого-нибудь да оставляли на второй год. И ничего... А он — в петлю.

Это теперь, через долгое время, пытаюсь представить: что там у него в душе творилось? Какая горечь и какая боль? Позор ли, перед матерью стыд, потеря друзей-одноклассников, обида на всех и на все. Помню, говорили, что на его щеках, уже мертвого, остались следы слез. Из жизни уходил во слезах.

Теперь времена иные. «Второгодников» не бывает. Из-за школьных «двоек» не вешаются.

Времена другие. Но жизнь прежняя, людская, в ней немало боли. А дети, особенно малые — все те же: светлая душа, открытое сердце, там нет корысти, лжи, но одна лишь любовь и жажда любви ответной. «Бигом, бигом...» В новую жизнь, взрослую, которая встречает порой ледяным холодом.

Этот бедный мальчонка, нынешний самоубийца, о котором я начал речь, не очень хорошо ладил со школой: побыл в одной, перешел в другую. Но и там не больно его ценили учителя, одноклассники.

Жил он с мамой. Родители были в разводе. Этот развод тянулся долго, на его глазах: скандалы, ругань, семейные помои. Как такое понять и принять детской душе? От рожденья всегда были рядом папа и мама, которых он любил и которые его любили. Самые добрые, самые красивые, самые дорогие... Где они теперь? У матери одна песня: «Я стараюсь... Я на двух работах... Эта сволочь ни копейки не дает. А ты — лодырь, учиться не хочешь...» Горькие слова, а потом — слезы материнские, от которых в первое время было очень больно, и он пытался их утишить, искренне сострадав матери, что-то обещаая и тоже плача. А потом привык.

Так и тянулась жизнь. Недолгая.

Ушел из нее мальчик как-то тихо, обыденно, в эту новую школу он тоже ходил неохотно. Там не было у него друзей.

Чужие, кичливые... О машинах разговоры, по осени — о летних поездках: Черное море, Турция, Египет... А он никогда никуда не ездил. И в классе, за столом сидел один. Он часто опаздывал, пропускал уроки и целые дни, ссылаясь на нездоровье.

В тот горький день он и в самом деле приболел: невысокая, но температура, озноб, горло... А в школе было родительское собрание, куда мать и ушла, не заходя домой, прямо с работы. Понятно, чего ей там напоят. И что потом будет, понятно. «Я стараюсь... А ты — лодырь... А эта сволочь...» Те же песни и те же скучные слезы, которые до тошноты надоели. Все надоело: мать, отец, школа и прочее. А тут еще хворь: зябкость и липкий пот. Сожмешься в комочек под одеялом, согреешься, дремлешь. Что-то грезится доброе. А потом вздрогнешь, возвращаясь к нынешнему. А хочется крепко заснуть, сладким сном забыться надолго. И чтобы никто не будил. Но скоро мать придет и начнется...

Он не стал ждать прихода матери и повесился.

Не знал я этого мальчику, никогда не видел его, но пытаюсь понять детскую тоску и смуту, горькую печаль одиночества среди людного мира. Некому поведать, излить, слезами утешиться в теплых ладонях ли, коленях.

И всего лишь шаг до покоя, долгого, вечного, когда весь этот мир, чужой и недобрый, разом отрежется и уйдет навсегда.

Прошлая осень для поселка и округи оказалась недоброй. Один за другим ушли еще два мальчика, оба — в петлю.

Первый — совсем неожиданно, словно взрывом. Семья — нормальная, в школе не было особых проблем. Для людей взрослых, для взгляда стороннего его уход — просто глупость, потому что причины пустячные. От девочки, с которой подружился в летнем лагере, получил письмо разрыва: ни видеть, ни слышать тебя не хочу; забудь обо мне. А тут еще, так некстати, от мамы какие-то упреки и бурная ссора.

Для человека пожившего все это, конечно, пустяк: детская любовь, мамины укоры. Сколько их...

Но для юной души — это взрыв опаляющий: любовь разделенная и вдруг — погубленная коварной изменой. Жгучая боль... А тут еще вместе с утешеньем — мамина ругань, словно холодная вода на горячие угли.

Мгновенный, обжигающий душу выплеск. Все кончено. Простой и единственный выход — петля, которая все разрешит. Туда он и шагнул, дитя несмышленное, светлая душа, которую жизнь еще не испортила ложью да корыстью, убеждая, что любовь бывает вторая, восьмая, десятая, поддельная, продажная...

У него была любовь первая и последняя — чистый высокий пламень.

Другого мальчика, той же осенью, нашли грибники в тополевой роще, на берегу Дона, тоже в петле.

Выбор его не был взрывным, мгновенным. Просто последний шаг жизни после нелегкого пути.

Жил мальчик в невеликом хуторе, рядом с поселком, в семье не большого благополучной. Глава семейства — отчим, человек пьющий, с недобрый характером. Мать — тихая, забитая — тоже нередко скрашивала жизнь рюмкой-другой.

Обычная хуторская усадьба: большой огород, корова, козы, свиньи, куры да утки — для житья и прокорма. Колхоз давно развалился, работы для взрослых нет, тем более, если человек пьющий. Таких нигде долго не держат.

Учился мальчик неплохо, сначала в хуторской, начальной, потом в поселковой школе. Учителя на него не жаловались. Да и было ли кому жаловаться?

В своей семье, в доме родном жилось мальчику несладко. Хозяйство немалое, зимой и летом много работы: кормить скотину, чистить стойла, пастушить, в огороде много трудов. От работы мальчик не отлынивал. Старался, в меру сил. Но отчиму, тем более пьяному, угодить было невозможно.

— Все жрете да не нажретесь, — упрекал он. — По три буханки в день. А вот работать... Через пень-колоду... У курей опять не почистил. А яйца либо сырыми глотаете? Люди продают. А у нас... Пузо никак не набьете. Козы к хорошему сену добрались... Сколь раз говорил... Не понимаешь?!

Оправданий отчим не терпел. Рука у него была тяжелая. Доставалось и мальчику, и матери. Маленькая сестренка пряталась под кровать, там порой и засыпала.

А мальчик стал убегать из дома, бродяжничая. Прибивался он в рыбацкие бригады, там его жалели, кормили. По теплу уходил в соседние хутора, в брошенных домах ночевал, нанимался в помощники к старым людям. Его поначалу искала милиция, вывешивали листовки, в телевизоре объявляли: «Ушел из дома и не вернулся...» Находили и привозили домой.

— Прибыл, не запылится?! — встречал его отчим. — Жрать захотел, вот и прибыл. А жратву надо заработать. Ты бегал, как заяц, а я работал... На тебя, выходит, работал... На бродягу. Не-ет... Ты сначала заработай, а потом за стол лезь...

— Работать, работать... — кивала мать, опуская глаза. — Надо работать.

Не было в родном доме ни покоя, ни приюта. И мальчик снова уходил.

В укромном месте, в камышовых зарослях устроил он себе берлогу. На жизнь промышлял по-всякому. Кормился рыбой, которую добывал малой сетью да удочками. При улове хорошо продавал или менял ее на другую еду. На брошенных дачах хозяйничал, заглядывал при нужде и в жилые. Осмелев, проверял дома и усадьбы людей городских, небедных, которых теперь немало на донских берегах. Порой его ловили, своеручно наказывая. Он плакал, обещал, что больше не будет... Но голод — не тетка.

Так жил он и жил, добро что лето и теплая осень в наших краях тянутся долго. Но зима все равно приходит.

Мальчик не захотел ее дожидаться. Он устал. Поздней осенью его нашли грибники в тополевой роще, в петле. Невысоко над землей он висел, худенький, легкий. Ветер его качал.

* * *

Главная улица городка нашего, конечно же, Октябрьская. Там — асфальт, что нынче не редкость; но еще, хоть и напрочь разбитый, кочковатый, но все же тротуар — от машин защита. По нему я и шествую неторопливо, приезжая на старые пепелища. И в одном лишь месте, в последние годы я ускоряю шаг, стараясь быстрее миновать неухоженный старый дом в дощатой обшивке, под замшелой крышей, почерневший от времени. В нем никто не живет. Таких домов в поселке теперь все больше и больше. Старики умирают, молодые ищут в других краях лучшей доли.

Но этот дом, мимо которого мне приходится ходить, он для меня особый. Цена ему — мальчишечья жизнь.

Прохожу, вспоминаю давно умершую хозяйку дома — старую учительницу; и неволею, с горечью — ее бедолажного правнука, которого я никогда не видел, лишь слышал о нем. Он ушел из жизни, не дожив немного до четырнадцати лет. И не своей, я считаю, волей: виноват во всем этот старый дом, мимо которого я стараюсь пройти быстрее. Полусгнивший дом и человеческая, злая, ненасытная жадность.

У старой учительницы был сын, не больно путевый, пьющий. По молодости он где-то служил ли, работал в какой-то из бывших советских республик. Потом вернулся в дом родительский, привезя с собой жену того же разряда, что и сам он. У них росла дочь, которая далеко от родителей не ушла и в свою пору привела в дом такого же мужа. Мальчонку они родили.

Веселая собралась семейка. Держалась она на старой учительнице. А рядом с ней поднимался молодой росток — мальчик, о котором речь.

Пока старая учительница в силах была, семья как-то держалась, мальчонка рос. Он в школу пошел и хорошо учился. Но бабушка дряхлая, а потом умерла. А следом за ней, потеряв опору, один за другим в короткий срок ушли на кладбище другие члены семейства.

Остались в доме лишь мальчик с матерью. Вдвоем, для дальнейшей жизни. Мальчик, на удивление, по-прежнему хорошо учился, занимался в футбольной секции на стадионе. И как говорят, подавал надежды. А мать его по-прежнему выпивала и толком нигде не работала. Чем они кормились, как выживали, знает лишь бог.

А потом началось вовсе горькое. Оказалось, что у матери нет нашего, российского гражданства, а значит, и прописки. Но было жилье — старый дом. На него и позарилась энергичная родственница, которая бывала в этой семье на правах не больно близкой, но родни. Приходила, проводывала старую тетушку, приносила гостинцы мальчику, поругивала его непутевых родителей.

Но когда в доме остались лишь мальчик с матерью, она сумела каким-то образом, для нынешнего времени понятным, оформить документы на наследство. По этим бумагам дом принадлежал теперь ей. Чужаков — мальчика с матерью — она в короткий срок выжила из дома. Сначала сообщила в контору электросети, что в ее доме надо отключить электричество, потому что проводка ветхая и может произойти пожар. Электричество отключили. Но бедолая мать с сыном не ушли из дома, кое-как перебивались. А куда им было идти?

Тогда добрая родственница заявила в полицию о том, что в ее доме проживают иностранные граждане без документов и прав. И, видимо, «хорошо попросила» принять меры.

Полиция быстро приехала, забрала иностранную гражданку в отделение. Продержали ее там до поздней ночи, а выпустив, приказали немедленно покинуть поселок. Иначе их, теперь уже вместе с сыном, поместят... Куда-то «поместят». Конечно же, не в доброе место.

В тот же день насмерть перепуганная мать вместе с сыном оставили свое, не больно завидное, но родное гнездо и уехали из поселка.

Где-то в чужих краях бродяжили они долго, чуть ли не целый год, но приюта там не нашли и, в конце концов, вернулись в место родное. Конечно же, не в старый свой дом, на который даже боялись взглянуть, но сняли какой-то угол.

Мальчик снова начал в свою школу ходить. Там его учителя хвалили. И в футбольную секцию вернулся. В поселковой команде он играл за юношей в нападении. Способный был паренек, светлая головочка.

А вот у мамы — не очень. Сошлась с мужиком себе подстать. Стали жить в тесной квартире веселым табуном с какой-то родней нового мужа.

Мальчику стало вовсе худо. Ночевал он в раздевалке, на стадионе или у каких-то товарищей, кормился кое-как, чем и где придется.

Но школу все равно не бросал, учился. Футбольный талант его заметили, оценили и обещали взять осенью в спортивную школу, в областной центр, на полное содержание. Российский паспорт ему должны были вскоре выдать. Четырнадцать лет исполнялось.

На лето он устроился работать помощником в авторемонтную мастерскую. Там, в гараже, мальчонка, считай, и жил.

Там он и умер смертью легкой.

Завелись у него друзья, подсказавшие, как можно скрасить скучноватую жизнь. Наука нехитрая: целлофановый пакет, в котором газ от зажигалки. И будет «крутой» кайф, сладкие грезы. Чем больше надышишься газом, тем больше счастья. Он постарался и перестарался, потому что был сильнее других и очень хотел счастья.

Смерть его была легкой и скорой.

Что виделось мальчику в его зыбких волшебных снах? Может быть, день завтрашний, когда на большом, огромном футбольном стадионе, полном людей, он бежит, он летит по центру, с мячом, легко обыгрывая одного соперника за другим. И удар издали, пушечный, в верхний угол ворот. Гол! Стадион ликует. А он ищет взглядом и находит в первом ряду девочку Лену из 8-го «Б» класса. И старую бабушку, которая его так любила. Он видел их дорогие счастливые лица, которые все ближе. Вот уже совсем рядом. И вспыхивает пламя уже не любви, но страсти, до боли жгучее.

Людское сердце, даже молодое, сильное, выдержать его не в силах.

Мальчик умер. А старый дом так и остался стоять пустой, почерневший от времени.

У новой его хозяйки и ее невеликой семьи два дома да еще квартира. На четверых ли, на пятерых хватает. И люди они, по меркам поселковым, далеко не бедные. Все пятеро, молодые и старые, при хороших должностях, с хорошей зарплатой. Кроме того, имеют, как нынче говорят, «свой бизнес». Так что старый дом для них как бы вовсе не нужен. Но удалось прихватить, пока пусть стоит. При случае продадут. Не столько дом, сколько участок земельный на центральной улице. Или сами еще один магазин построят, сдвинув бульдозером этот почерневший от времени дом, цена которому молодая мальчишечья жизнь.

* * *

В наших южных краях городская осень приходит словно украдкой: зелень да зелень, тепло да тепло. Но вечерами уже тянет прохладой, по утрам зябковато. Скоро, теперь уже скоро, придет иная пора: не откроешь окно нараспашку и балконную дверь. У ребятишек из детского сада, что в нашем дворе, летнее время кончится. Их будут беречь.

Но это еще впереди. А пока — вот они: высыпали, словно воробьи, защибетали и понеслись. Бегом, бегом...

Кто-то из них уже убежал к жизни иной, новой. Это было, кажется, в начале лета — выпуск детсадовский. Шеренга ребятишек в одинаковых желтых футболках. Что-то декламируют, хором поют. Посмотрел. Послушал. И почему-то стало их жалко. Детвора... Какие они красивые: светлые лица, чистые глаза. И души, пока еще детские, чистые, светлые... Не оставляй их, Господь.

«ДЕДУШКА, ПОМОГИ...»

Нынешним летом довелось мне недолго побыть в приглядном месте, на одном из верхних донских плесов, где река неширокая, а течение мощное: тугой, мускулистый быстрик.

В один из дней, к исходу его, до устали набродившись по просторной округе, прибился я к берегу донскому на отдых, устроившись возле самой воды на теплом, прогретом за долгий день камне-плитняке.

Поодаль, по течению выше, возле причаленной к берегу лодки сидел старый человек. Рыбачил он закидушкой, порой проверяя ее и подправляя на крючках наживку. У него не клевало.

А немного выше него гомонили и суетились на берегу два вовсе молодых рыбака. Один был явно постарше, и потому командовал:

— Поправь червяка... Закидывай! Не так! Давай я закину... Гляди за поплавком... — И через минуту: — Давай закидушку проверим. Тяни! Держи... Ничего нету.

На воде говор людской далеко разносится.

Суеты у молодых рыбаков было много. А проку, видимо, никакого. Поэтому они решили поменять место и направились по течению вниз.

Миновав рыбака с лодкой, они подошли ко мне: малая ребятня, хуторская. Одному лет семь, другой — на год-два постарше, на голову выше.

Бойкий мальчонка, разговорчивый.

— А вы рыбалить пришли? — с ходу спросил он меня.

— Нет. Просто посидеть, поглядеть.

— А мы рыбалим. Здесь, на плите, клев хороший.

О какой плите речь, я понял, когда они пробрели метров пять от берега, а потом забрались на скрытую под водой каменную ровную плоскость. Там и закинули удочки.

Но и здесь клева не было. А еще не было у ребят такого нужного для рыбаков терпенья. Особенно у старшего.

— Ты чего так близко закидываешь?! Глубину сделай побольше, — наставлял он. — Наверху одна мальва... Соображать надо.

Младший не перечил. Стриженный наголо, голопузый, дочерна загорелый, он лишь вздыхал.

Наконец, старшему надоело пустое стоянье.

— Пошли закидушки проверим, — решил он. — Может, чего уже поймалось.

Оставив удочки возле меня, ребята отправились по берегу к своим закидушкам.

Лодка старого рыбака была у них на пути, а самого хозяина возле лодки не было. Куда-то он отлучился.

Старший мальчонка словно споткнулся и встал возле лодки. А потом стал быстро вытаскивать на берег чужую снасть, прикрикнув на младшего:

— Помогай... Держи.

Закидушку от вытащил быстро, сообщая: «Пусто, пусто, пусто...» И торопясь, широко размахнувшись, забросил в воду тяжелое концевое грузило. Забросил и побежал прочь, заметив вышедшего из кустов хозяина снасти. Во след ему раздался отчаянный крик:

— Помогите! Помогите!

Это кричал младший его товарищ, не сдвинувшись с места.

— Помогите! Больно!

На помощь поспешил старый рыбак.

— Нож дайте! Там крючок! Ножом разрежьте!! Больно! — кричал мальчик.

Старик не сразу сообразил. Но все же дошло до него.

— Это ты мою закидушку проверил? И попался. Поделом вору мука.

— Мне больно! Дедушка, помоги! Я больше не буду! Помоги, дедушка! Я больше никогда не буду!

По воде людские голоса, разносятся гулко. Я все слышал, все понял: старший мальчонка, торопясь, закидывал чужую снасть, с тяжелым грузом, забыв, что у напарника в руках шнур с крючками. И один из крючков и вошел мальчонке в мякоть ладони. Не только кончиком — острым жалом, но «бородком», который при подсечке впивается в рыбу намертво, чтобы не сорвалась. Теперь вот малец попался. Недаром кричал он: «Дайте нож!» Чтобы сделать глубокий надрез в ладони и вынуть крючок с «бородком».

— Дедушка, помоги... Я больше никогда не буду!.. Больно, дедушка...

Старик что-то бурчал, помогая мальчонке. Обошелся он без ножа, вынул крючок.

— Спасибо! Спасибо, дедушка! Я больше никогда не буду... Спасибо!! — еще и еще раз громко обещал мальчонка, поспешая к своему товарищу который, предусмотрительно отбежав подальше, так и не подошел, ожидая, чем дело кончится.

Тем оно и кончилось. Гулким эхом над вечерней водой прокатилось: «Спасибо, дедушка...» и вернулось тихим отзвуком, замирая в прибрежных зарослях: «сибо, сибо, сибо...»

Остывшее солнце склонилось к закату. Скотье хуторское стадо, вздымая красную пыль, тянулось к вечернему водою.

ВОЗЛЕ ЖИВОЙ ВОДЫ

Осень пришла незаметно. Лето и лето. Тепло и тепло. И вдруг похолодало. Словно разом обрезались дни. Вечером быстро темнеет. Иду, и час будто не поздний, но над городом крылатится угрюмая тьма. Иду главной улицей — проспектом Ленина, в самом центре города. Но — тьма. Редкие фонари горят тускло. И людей не видать. День воскресный, вечер погожий, но даже молодых нет. Не слышно их голосов, смеха. Это — в центре города, в самом сердце его. А что же теперь на Тракторном, в Бекетовке, в дальних углах? Там вовсе — глухая ночь. Поневоле ускоряю шаг. Думаю: это — провинция, это — уездное. Вечер, стемнело, быстро пустеют улицы. Вязкая тьма полонила город. Редкие фонари. Торопливые шаги. Вечер уходит в ночь.

Да, мы живем в провинции, в далеком от столиц городе. Это там, в Москве ли, Питере, теперь светят огнями Тверская ли, Невский. Там вечерами жизнь человечья лишь разгорается: театры, концертные залы, рестораны... Она будет гаснуть лишь за полночь, когда мы уже крепко спим. Провинция... «Деревня, глушь, Саратов...» А Царицын и вовсе — уезд. От слов Грибоедова до дней нынешних столько времени утекло, но разве изменилось что? По-прежнему мы — не столица. И нынешний глухой вечер тому подтвержденье. Так было всегда, так есть, так будет. Шумят ночные Париж ли, Лондон, Москва, Тур, Оксфорд ли, Волгоград, Калач-на-Дону да Урюпинск засыпают рано.

Провинция... Провинциальная жизнь. Это — наша судьба. Наказание или награда?... «В Москву, в Москву! — звали и зовут нас чеховские сестры. — В Москву, в Москву...» А мы живем здесь. По молодости порой уезжаем, но потом возвращаемся. И навсегда остаемся.

Провинциальная жизнь. Что в ней — радость, а что — огорченье? На мой взгляд, первое, чем притягивает, чем держит нас провинция — это стремлением жить ближе к естеству: ближе к земле, ближе к воде, ближе к природе.

...в подъездах полутьма,
На лестничных площадках сыровато,
Но все ж прекрасны старые дома
В кривых проулках моего Арбата.

Это уже не просто строчки поэта, это — суть жизни. Человек большого города, словно кошка моего московского приятеля, боится живой земли, потому что он родился и прожил среди кирпича ли, бетона. Его родина — полутемный тесный колодец двора, подъезд. Кошка моего приятеля может жить только в квартире, на шестом этаже. Когда ее попытались вынести во двор и пустить на землю, возле зеленого куста, она оцепенела, легла и лежала, телом дрожа. Вынесли раз, другой, а потом прекратили эту пытку.

В провинциальных городах еще осталась живая земля, вода. Или она — рядом. Утром я просыпаюсь, а солнце встает из-за края земли. И это уже радость на весь день.

— Пойдем-ка на Волгу, — порою говорим мы сами себе ли, друзьям, близким.

Говорим и идем. Ведь Волга от всех не больно далеко. Идем и проводим на берегах ее короткий ли срок, долгий, но всегда благостный. Глядим на текучую воду. Летом она слепит бликами; осенью да зимой дышит стылостью. Но в любую пору у воды душа как-то утишается. Глядишь и глядишь, вздыхаешь порой. Словно уходит из тебя пустое, наносное. О чем-то легко думается, что-то вспоминается доброе.

Посмотрите на людей, которые гуляют над Волгой, на скамейках сидят, их лица светлее и добрее обычного. И в душе ли, на сердце — тоже. Это мы по себе чувствуем, не всегда понимая, какая великая радость и великая награда жизни — проводить свои годы возле живой воды.

Провинциальная жизнь — это еще и возможность спокойной пешей ходьбы: на работу, в магазин, просто прогулки. Один из моих знакомых, прожив в Москве несколько лет, уехал оттуда по простой причине. «Надоело нырять из норы — в нору, из норы — в нору», — объяснил он. И это не шутка, это — важно. Когда изо дня в день, утром и вечером не идешь, а плывешь в сплошном потоке глухим каменным коридором и порою осязаемо чувствуешь, какой тяжелый пласт земли лежит над твоей головой, то простая мысль порой обжигает: «На земле места не хватило... По нормам...» И у себя дома, в своем провинциальном городе, идя по улице — когда и ты никому не мешаешь, и тебя никто не толкает — вспомнишь «норы» метро и облегченно глубоко вздохнешь, понимая, какое счастье — спокойно, не торопясь, идти по улице и видеть, и чують над головою небо, а вокруг — какой-никакой простор. Это — по-людски, по-человечески. И потому ближе душе.

В провинции почти всегда рядом родина, близкие люди. Пусть порою не шаг шагнуть, но не далеко. Земля детства и юности. Твоя деревня ли, хутор, станица, районный городок. Там ты родился, там — детство. Раз в году, но можно съездить. А порой, старея, мы возвращаемся на землю детства. Подновляем ли старый родительский дом, строим ли новый. Живем там месяц, другой, лето. В провинции это возможно. Родительский дом и дорогие могилы — рядом ли, близко. И это тоже нужно душе: прийти на старое кладбище, посидеть, подумать. Потому что в жизни много суеты, много лишнего, ненужного. А жизнь наша — вовсе недолгая. И, уходя из нее, о чем будешь жалеть, о чем плакать...

— Умру, схоронят, вишенка будет цвести, а я не увижу, — горевала

в последние свои весны моя соседка Прасковья Ивановна, любуясь цветущим садом.

По весне в нашем городе так хорошо цветут абрикосы, вишни, яблоны. На Дар-горе, на Ангарском поселке, в Жилгородке, на Центральной набережной, на улице Мира — в самом центре. Может, поэтому мы и живем здесь.

Но теперь осень. Днем — солнце, а вечерами быстро темнеет.

Спешу домой и вижу, как в чьем-то окне зажглась зеленая лампа. И чья-то голова склонилась над книгой ли, просто в раздумье. Спешу домой. Тоже лампу зажгу. За окном — тьма. Но там — Волга. Улицы притихают. И слышно, как плещет вода, как шумит листва тополей. Под этот ропот ли, плеск хорошо и легко думается о жизни. О всякой жизни: о своей и чужой, о той, что была, что прошла, и той, которая будет.

ЛЕДОЗВОН

С возрастом, а тем более преклонным, все меньше остается праздников. Новые к старому человеку уже не приживутся; старые как-то быстро пожухли и облетели. Остаются лишь вечные. Один из них — ледоход. Для меня — на родном Дону.

Прежде, когда зимовал я в своем поселке, все было проще. Чуть не каждый день к Дону приходишь: рыбачить или просто проведать. И конечно же, ледоход не пропустишь. Нынче иное. Наезды да телефонные разговоры: что там и как? Верь — не верь...

Так было и нынешней весной: спрашивал, ждал, а когда приехал, Дон уже был чистый. Лишь на берегах кое-где дотаивали, рассыпаясь, хрупкие крыги да в районах плавал сизый набрякший лед.

Мои молодые помощники лишь разводили руками:

— Да вроде в выходной рыбалили, судака гоняли... Когда пронесло? Тихомолом.

Вот тебе и тихомолом ли, шепотом. Ледоход называется. А прежде бывало...

Обычно, над старыми людьми подсмеиваются: «И ситец у вас был лучше, и сахар слаже...»

Но в пору детства моего ледоход на Дону шел не мирным тихомолом, но извещал о себе таким гулом и грохотом, что весь поселок сбегался на берег. Из школы нас отпускали смотреть ледоход и правильно делали, потому что мы бы все равно с уроков сбегали. Пропустить ледоход было немислимо: такое чудо, такое диво... А порою такая страсть, когда огромные могучие льдины начинают тесниться в заторах, вздымаются на дыбы и ршутся с пушечным гулким грохотом.

Но это — днем. А начинается ледоход ночью. В весенней сырой тьме, в тишине долго-долго слышатся глухие звуки: тяжкое скрежетание, прерывистый гул да хруст, натужные вздохи и словно ворчанье.

Река, могучие воды ее почуяли срок освобождения и напрягаются, стараясь порвать ледяные оковы. Трецит и рвется обветшалаая зимняя одежда.

И вот он шатнулся, просторный, от берега к берегу, ледяной покров, уже ослабленный трещинами, просовами, майнами. ТронулсЯ, заскрежетал. И встал. Снова двинулся под напором воды. Там и здесь появляются на быстрЯках, на теченье темные окошки воды, которые тут же закрывают наплывшие льдины и, не выдержав тяги, уходят, ныряют под лед.

И вот уже тронулась вся река, неторопливо, с остановами и нарастающим скрежетом, гулом. Но настоящий ледоход ли, по-нашему — «стор», еще впереди.

Солнечный яркий день. Обтаявшая земля, рдяные талы. И просторный, от берега к берегу ход белой реки. Движение неторопливое, но мощное, неостановимое, с неумолчным рокотом, гулом, которые завораживают. Стоишь и глядишь на эту недоступную силу и мощь, подвластную лишь природе ли, Богу.

Торопятся на быстряке, на теченье большие льдины, вздымаются, словно не поделив дороги, и с грохотом рушатся в облаке, в радужном сиянии снежной пыли и хрустального ледяного крошева.

Один затор да другой. Грохот на грохоте — канонада. Это «стор» идет! Могучий, неостановимый.

Однажды видел, как огромное ледовое поле, не тронутое змеистыми трещинами, двигалось быстро, беззвучно, левым, луговым крылом наползая на берег, срезая кусты и деревья прибрежного займища и хороня их под спудом; тем же ходом льдина в один миг начисто убрала песчаный остров, заросший ивняком, оставив позади лишь бурливую темную воду.

Потому и сбегался народ со всего поселка, чтобы поглядеть, подивиться, как порою плывут вмерзшие и унесенные ледоходом лодки, сараи, плетневая ли, дощатая городьба, рыбацкие домики — зимние станы, и даже баржи, катера, не успевшие по осени уйти в затон. Несет их ледовый плен вниз и вниз по теченью. Живность порой бедует на льдинах: суматошливые лисицы, присмирившие от испуга зайцы, собаки.

Отчаянные ребяташки умудрялись кататься на льдинах, перепрыгивая с одной на другую. Взрослые их ругали. Милиция порой прибывала наводить порядок. Но это — в поселке. На хуторах — вольнее. Там люди выходили на добычу: бревна, доски, вывороченные ледоходом деревья — все старались к берегу подтянуть и причалить. Не пропадать же добру.

Последние, памятные для меня годы высокого половодья да ледохода — это, наверное, годы пятидесятые. Седьмой ли, восьмой класс учебы. Четырнадцать ли, пятнадцать лет. Тогда учительница приказала нам написать сочинение о весне. Я написал о ледоходе. Конечно, не помню, что я там насочинял, но учительница прилюдно, в классе, корила меня за то, что я будто бы «передрал» свое сочинение из какой-то книги. Не оценила. Может быть, потому что сама на берегу с нами не была. А зря.

Это был один из последних настоящих ледоходов на Дону. Потом появилась плотина, канал Волго-Дон, и лед на реке прежде срока стали ломать ледоколами, открывая ранний путь для грузовых судов.

Как и теперь. По старой привычке стараюсь попасть к ледоходу. Но не всегда мне везет.

Еще и потому, что нынешний ледоход уже не гулким «стором» идет, а тихомолом ли, шепотом. Серединой реки тянет и тянет сизая лента шуги — ледяного крошева. Слышен лишь шорох.

В году нынешнем я вообще опоздал. Приехал, а Дон уже чистый. Поглядел, повздыхал, прошелся по береговому песочку и подался через мост на другую сторону реки, холмистую, высокую. «Горской» ее называют.

Там, в просторных ложбинах да глубоких овражистых балках, земля просыпается рано, выпуская на волю свой первый цвет: желтые калужницы, чистяк, лук гусиный да сиреневые хохлатки.

Но нынче, видно, срок еще не пришел: везде было серо и пусто.

И потому, побродив недолго, спустился я вниз, снова к реке на берег. Машину оставил поодаль, подошел к воде.

Картина была все та же: ненастное небо, серая вода, стылый восточный ветер да несколько ледяных крыг на галечной кромке.

Вспомнилось иное. Я даже прикрыл глаза. Прикрыл и вдруг услышал легкий серебряный перезвон. Он был тоньше и нежнее церковного, но гармоничный и слаженный. Мне даже почудилась какая-то знакомая мелодия. Может, лишь почудилось? Нет, не почудилось. Над серой донской водой и галечным берегом плыла, не кончаясь, нежная музыка серебряного перезвона: прощанье ли с ледоходом или голос весны.

Застрявшие на береговом мелководье толстые льдины доживали свой последний час. Набегавшие волны размывали их, раз за разом, отделяя от материнского тела и выпуская на вольную воду высокие прозрачные ледяные друзья, которые останавливались тут же, теснясь и биясь под волной друг о друга.

Нежный перезвон, далеко не уходил, но здесь в укрыве обрывистых холмов, над водой был отчетливо слышен. И чудилась, угадывалась в этом перезвоне, а точнее ледозвоне, мелодия, трогающая души. Это была музыка рожденья, потому что последние рыхлые льдины и прозрачные ледяные друзья не умирали, но, понемногу истаивая, капля за каплей переходили в новую жизнь, становясь чистой донской водой.

СЕРДЕЧКО

Второй уже год, в середине лета приглашают меня молодые учителя-словесники на свою конференцию, которую проводят они в уютных домиках базы отдыха «Донские зори», возле хутора Рыбный.

Соглашаюсь, приезжаю. Место хорошее: на речном берегу, в укрыве тополевой рощи. Рядом — могучий курган, с высоты которого видится простор необъятный: зеленые дубравы да ивняки, речные, озерные синие воды, холмистая степь с черными пашнями да золотистыми полями цветущего подсолнуха.

И народ на семинаре собирается хороший: молодежь учительская, со всех краев, ближних и дальних. Славные лица, серьезные разговоры и молодое веселье.

Больших трудов от меня здесь не требуют: общая встреча, какие-то вопросы, ответы. Но вдобавок — организаторы семинара приобретают мои книги, привозят сюда и просят подписать их на память каждому участнику семинара.

Этот труд — непростой: сотня ли, больше книг. В прошлом году, когда все вместе нахлынули, получилась толчая: для учителей — долгое ожидание, для меня — спешка. И потому нынче сказал я, чтобы каждый написал на своей книге имя и фамилию. И все книги пусть отнесут к моему домику, на веранду. Там я, спокойно все сделаю, не торопясь и никого не задерживая.

Так и устроили. На веранде моей, на просторном столе выросли немалые стопы книг.

Принялся я за дело. Объявилась у меня милая помощница, которая книги подавала, открывала их, порой разбирая чей-то неясный почерк. Работа шла. Уменьшались одни стопки книг, росли другие, подписанные.

Очередную книгу открыв, и подавая мне, моя помощница засмеялась. Приняв книгу, я не сразу на стол ее перенес, держал в руках. В распах

открытых страниц лежало небольшое аккуратно вырезанное из красной бумаги сердечко. Как тут было не улыбнуться. Только имя было написано на книжном развороте: «Диана». Я сразу вспомнил черноглазую девочку, которая на общей встрече сидела на первом ряду. Чья-то дочка.

Моя помощница догадку подтвердила.

Книгу я подписал, положил в общую стопку. Красное сердечко оставил себе.

Вернувшись домой, разбирая дорожную сумку и найдя там сердечко, я подержал его на ладони, вспомнил милое детское лицо, улыбнулся ему в ответ.

Как мало нам порой надо для счастья, для недолгих минут его. Всего лишь бумажная вырезка — сердечко. В нем тепло детских рук и детского сердца.

Красное сердечко я пристроил на видном месте. Там ему жить, пока я жив.

